Алексей Овчаренко



Не Малевич

Алексей Овчаренко

Не Малевич

https://litres.ru/74783019
SelfPub; 2026

Аннотация

«Мир, который нас окружает, с каждой минутой становится словно вязкая трясина».Герой этой книги
—обычный
человек,
строитель,
привыкший чинить чужие системы отопления и молчать за ужином. Пока однажды в метро он не замечает, что его жизнь превратилась в геометрическую фигуру—идеальный чёрный квадрат. Работа, отношения, мечты — всё заключено в раму, внутри которой почти не осталось воздуха. «Не Малевич»—это не искусствоведческое исследование, а личный манифест честности. Автор делает попытку разобраться, можно ли выйти из клетки, которую мы построили сами, и что на самом деле скрывается за чернотой, в которую мы боимся всматриваться. Эта книга для тех, кто

устал«просто существовать»и хочет найти путь к настоящему дыханию — за пределами привычных рамок.

Алексей Овчаренко
Не Малевич

Алексей С



Алексей Овчаренко
Не Малевич:
Дневник осознанного взгляда 2026
© 2026 Алексей Овчаренко
Дизайн обложки: ©Алексей Овчаренко. Все права защищены.

Никакая часть этой электронной или печатной книги не может быть воспроизведена, распространена или обнародована в какой-либо форме безписьменного разрешения правообладателя.

Примечание. Все персонажи, описанные в данной книге, являются собирательными образами, а все совпадения с реальными людьми — случайны. Мнение автора может не совпадать с мнением читателя.

«Мир, который нас окружает, с каждой минутой становится словно вязкая трясина».Герой этой книги —обычный человек, строитель, привыкший чинить чужие системы отопления и молчать за ужином. Пока однажды в метро он не замечает, что его жизнь превратилась в геометрическую фигуру—идеальный чёрный квадрат. Работа, отношения, мечты — всё заключено в раму, внутри которой почти не осталось воздуха. «Не Малевич»—это не искусствоведческое исследование, а личный манифест честности. Автор делает попытку разобраться, можно ли выйти из клетки, которую мы построили сами, и что на самом деле скрывается за чернотой, в которую мы боимся всматриваться. Эта книга для тех,

кто устал«просто существовать»и хочет найти путь к настоящему дыханию — за пределами привычных рамок.

«Искусство есть способность видеть мир, когда его никто не видит.»

— Казимир Малевич

Часть 1.

Не Малевич

«Чёрный квадрат — это не конец живописи. Это конец иллюзии, что мы видим что-то кроме самих себя.» — из дневниковых записей неизвестного автора.

Эту книгу я хотел бы посвятить людям, заблудившимся в глубине собственного сознания. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему мир, который нас окружает, с каждой минутой — секундой — становится словно вязкая трясина, безмолвная бездна, куда проваливается всё, к чему прикасаешься: работа, разговоры, даже собственные мысли, стоит только остановиться и прислушаться к тишине между ударами сердца? Мне было двадцать девять, когда я впервые увидел его вживую. Не на репродукции в учебнике, не на плакате в комнате студента, изображающего из себя знатока искусства, — настоящий, тот самый: потрескавшийся холст, потемневший от времени, будто сама краска устала быть чёрной и хотела вернуться в небытие, из которого её однажды вырвали. Я стоял перед ним в полутёмном зале, и мне казалось, что не я смотрю на картину, а картина смотрит сквозь

меня, изучает содержимое, как таможенник — чемодан подозрительного пассажира. Люди вокруг фотографировали. Щёлкали телефонами, будто квадрат мог исчезнуть, если не зафиксировать его существование немедленно. Кто-то шептал спутнику: «И вот за это платят миллионы?» Кто-то стоял молча, как я, хотя, подозреваю, по совершенно другим причинам. Я не искусствовед. Я не собираюсь рассказывать вам о супрематизме, о революции формы, о том, как в тысяча девятьсот пятнадцатом году один человек решил, что живопись умерла и на её похоронах нужно повесить траурный флаг — простой, честный, беспощадный. Об этом написаны тонны текстов людьми куда более образованными, чем я. Меня интересует другое: почему спустя сто с лишним лет этот чёрный прямоугольник продолжает разговаривать с каждым, кто останавливается перед ним достаточно надолго, чтобы услышать? Потому что я услышал. И то, что я услышал, преследует меня до сих пор. Расскажу с самого начала, потому что иначе вы не поймёте, почему взрослый мужчина, строитель по образованию, человек, который последние десять лет чинил чужие системы отопления и с трудом мог отличить Ренессанс от рококо, вдруг начал видеть квадраты. Везде. Сначала это были обычные вещи — окно лифта, тёмное на фоне светлой шахты. Экран выключенного телевизора вечером, когда в квартире уже погашен свет и только уличные фонари бросают на пол узкие полосы. Дверной проём кладовки, куда годами никто не заглядывал. Я за-

мечал их так, как замечаешь боль в старой травме — не постоянно, но в определённые моменты, когда усталость снимает с сознания привычную защитную плёнку. Потом квадраты стали появляться там, где им быть не полагалось. В разговоре с начальником — когда он понизил мне зарплату, ссылаясь на «объективные сложности», — пауза между его словами вдруг превратилась в чёрный проём, и я смотрел в него, пока он говорил, будто там была дверь, которую я давно не решался открыть. В споре с женой о деньгах — её лицо на мгновение стало рамкой, внутри которой не было ничего, кроме усталости. В очереди в поликлинике — пустой прямоугольник таблички «Регистратура» напоминал о чём-то давно забытом, почти детском. Я никому об этом не рассказывал. Кто в здравом уме признается, что видит геометрические фигуры в повседневности, если не хочет закончить разговор направлением к психиатру? Но дело было не в фигурах. Дело было в том, что каждый раз, замечая очередной квадрат, я чувствовал одно и то же — узнавание. Не открытие чего-то нового, а именно узнавание давно забытого, будто кто-то напоминал мне о комнате, в которой я родился и вырос, но которую меня заставили забыть. Современный человек живёт внутри рамы. Он просыпается по будильнику — прямоугольнику света на прикроватной тумбочке. Он проверяет сообщения на экране — ещё одном прямоугольнике, поменьше. Он едет на работу, глядя в окно транспорта — рамка, за которой проносится мир, недоступный для при-

косновения. Он садится за стол, включает монитор — и вот она, главная рама его существования, куда он будет всматриваться восемь, десять, двенадцать часов, надеясь разглядеть в мерцании пикселей хоть что-то похожее на смысл. А вечером — снова экран, только меньше и ближе к лицу, будто самому себе хочется поднести увеличительное стекло к пустоте и убедиться, что она действительно пуста. Казимир Северинович не рисовал будущее. Он не был пророком в том дешёвом смысле, в каком любят представлять гениев задним числом, приписывая им способности, которых у них не было. Но он, кажется, понимал главное, чего не понимают люди, прожившие первые двадцать с лишним лет своей жизни: квадрат — это не тюрьма, в которую тебя заперли. Квадрат — это тюрьма, которую ты научился принимать за пейзаж. Продолжу с того дня, когда всё началось по-настоящему — не с наблюдений исподтишка, а с события, которое нельзя было списать на усталость или разыгравшееся воображение. Это случилось в среду. Обычная среда, без праздников и поводов её запоминать. Я задержался на работе допоздна — прорывало трубу в подвале нашего офиса, и меня вызвали как единственного, кто знает, где вентиль. Домой ехал уже в темноте, уставший, с мокрыми по локоть рукавами. В метро было почти пусто, только я и ещё несколько человек, каждый в своём углу вагона, каждый смотрел в свой телефон. И тут я поднял голову. Напротив меня было окно. Не то, что выходит на улицу — там просто темнота туннеля, — а ок-

но двери в соседний вагон. Чёрное стекло, обрамлённое металлом. За ним ничего не видно, только чернота, качающаяся в такт поезду. Я смотрел на это окно минуты три, может, пять. И вдруг понял — со мной что-то не так. Не с окном. Со мной. Потому что вместо простого стекла я увидел раму. Точную, ровную раму, а внутри — не отражение вагона, не блики от ламп, а просто чёрное. Густое, спокойное, будто оно ждало меня всю жизнь. Сердце забилось быстрее. Не от страха — вернее, не только от страха. От чего-то похожего на узнавание. Так узнаёшь голос человека, которого не слышал много лет, но сразу понимаешь: это он. Я вышел на своей остановке, поднялся по лестнице, дошёл до дома. Всё как обычно. Жена спала. Я разогрел ужин, поел один на кухне, глядя в окно на пустой двор. И снова — вот оно. Тёмное стекло, белая рама пластикового окна вокруг него. Квадрат. В ту ночь я не спал. Лежал и думал: может, я просто устал. Может, слишком много работал в последний месяц, слишком мало спал, слишком много нервничал из-за денег, из-за того, что мы с женой почти не разговариваем последние полгода, кроме как по бытовым вопросам — кто платит за квартиру, кто идёт в магазин. Но чем больше я убеждал себя, что дело в усталости, тем яснее понимал: это не усталость. Усталость не заставляет видеть смысл там, где раньше был просто предмет мебели или деталь интерьера. Усталость притупляет, а не обостряет. Утром я поехал на работу другим путём — специально, чтобы не проходить мимо того

места в метро. Глупость, конечно. Квадраты были повсюду, и спрятаться от них не получилось бы, даже если бы я неделю не выходил из дома. Но в тот момент мне казалось важным хоть что-то контролировать. Не получилось. На работе меня встретил монитор. Чёрный, пока грузилась система. Я смотрел на него дольше обычного, и коллега за соседним столом спросил, всё ли в порядке. Я сказал — да, просто задумался. Соврал, конечно. Я не задумался. Я снова услышал этот тихий гул, будто где-то очень далеко работает механизм, и этот механизм — я сам. Через неделю я поехал в музей. Специально, в свой выходной, один, ничего не сказав жене. Сказал, что иду к другу. Она не спросила подробностей — мы давно перестали спрашивать друг друга о подробностях. Я стоял перед картиной уже не как турист. Я пришёл с вопросом, хотя сам ещё не мог его сформулировать. Просто стоял и смотрел, минут двадцать, может, дольше. Охранник несколько раз бросал на меня взгляд — не подозрительный, скорее усталый, как смотрят на людей, которые задерживаются возле одного экспоната дольше положенного. И вот тогда я впервые поймал себя на мысли, которая потом станет для меня главной на долгие месяцы: этот квадрат нарисовали не сто лет назад. Его рисуют каждый день. Заново. Каждым человеком, который просыпается, включает телефон, едет на работу через одинаковые улицы, возвращается домой в одинаковое время, ложится спать, чтобы завтра нарисовать его снова. Малевич просто первым догадался показать нам то,

что мы делаем сами с собой. Без кисти, без холста. Своими руками, своим временем, своей жизнью. Я вышел из музея другим человеком. Не в том смысле, что просветлённым или очистившимся — ничего подобного. Просто с этого дня я перестал бороться с квадратами. Я решил разобраться, откуда они берутся и можно ли из них выбраться. Хотя бы для себя одного. Как оказалось позже — это было только начало. Разбираться я начал так, как умею разбираться со всем в жизни — по-инженерски. Если что-то сломано, нужно понять, из каких частей оно состоит, и проверить каждую по отдельности. Так меня учили в институте, так я чинил трубы, котлы, системы отопления в старых панельных домах. Я решил, что с квадратом поступлю так же. Первым делом я стал записывать. Завёл обычную тетрадь, купил в киоске у метро — дешёвую, в клетку, с мягкой обложкой. Каждый вечер писал туда, где за день заметил очередной квадрат и что при этом почувствовал. Через месяц тетрадь заполнилась почти до конца, и я перечитал её целиком за один вечер, пока жена смотрела сериал в другой комнате. Картина получилась странная. Квадраты появлялись не просто так, не хаотично. Они возникали в моменты, когда я от чего-то прятался. Когда не хотел признаться себе в очевидном. Когда врал — не всегда вслух, чаще самому себе. Пример: в тетради была запись за вторник, третья неделя наблюдений. «Начальник спросил, готов ли отчёт. Сказал — готов, хотя ещё конь не валялся. Пока говорил, посмотрел на его монитор — там был

чёрный экран заставки. Смотрел на него секунды три, и было чувство, будто монитор всё про меня понял». Или запись за пятницу той же недели: «Жена спросила, всё ли у тебя в порядке. Сказал — да, всё нормально. Пока говорил, смотрел в окно за её спиной. Там было темно, окно превратилось в чёрный прямоугольник, и я не мог отвести взгляд, пока она не повторила вопрос». Я начал понимать закономерность. Квадрат появлялся там, где я лгал. Не большой ложью, не предательством — мелкой, повседневной, той самой ложью, из которой состоит взрослая жизнь почти любого человека. «У меня всё хорошо». «Я справляюсь». «Мы с женой просто устали, это нормально». «Работа как работа, никто не любит свою работу». Каждый раз, когда я произносил такую фразу — вслух ли, про себя ли, — где-то рядом появлялась чёрная рамка. Будто мир аккуратно фиксировал момент, когда я отворачивался от правды, и вешал на стену табличку: здесь спрятана ещё одна маленькая смерть. Я рассказал об этом одному человеку — не жене, не друзьям, а бывшему однокурснику, с которым мы почти не общались последние годы, но который когда-то изучал философию параллельно с инженерным делом. Его звали Валерий. Мы столкнулись случайно, в очереди в поликлинике, разговорились, и я неожиданно для себя выложил ему всю историю с квадратами. Наверное, потому что он был не из моей обычной жизни — с ним не было риска, что после этого разговора он начнёт смотреть на меня иначе за семейным ужином. Валерий выслушал меня

внимательно, не перебивая. Потом сказал вещь, которую я не забуду: — Ты не сходишь с ума. Ты, кажется, наконец начал видеть. Я спросил, что он имеет в виду. — Понимаешь, — сказал он, — большинство людей всю жизнь смотрят на квадрат и думают, что смотрят на картину. Они читают про неё в интернете, кто-то восхищается, кто-то ругает, кто-то говорит — да это же просто чёрная краска, обман, детский сад. Но почти никто не задаёт себе вопрос, почему картина продолжает висеть в музее сто с лишним лет и почему люди до сих пор к ней ездят. Ты этот вопрос себе задал. И, судя по всему, получил ответ, который не готов был услышать. Я спросил его напрямую — что это за квадрат, откуда он взялся внутри меня. Валерий помолчал, потом ответил просто: — Это не квадрат внутри тебя. Это ты внутри квадрата. Просто раньше не замечал стен. Эти слова засели во мне глубже, чем я готов был признать в тот момент. Я вернулся домой, и весь вечер эта фраза крутилась в голове, пока я мыл посуду, пока смотрел новости по телевизору, пока лежал в темноте рядом с женой, слушая её ровное дыхание. Ты внутри квадрата. Просто раньше не замечал стен. С этого дня наблюдение превратилось в нечто большее, чем просто фиксация фактов в тетради. Я стал искать структуру — не только когда квадрат появляется, но и что он собой представляет. Какие у него стены. Из чего они сделаны. Первая стена, которую я обнаружил, была простой — работа. Не работа сама по себе, а то, во что она превратилась. Каждый день одно и

то же: подъём в семь, дорога в офис, восемь часов за столом, дорога домой, ужин, сон. Повторяется настолько точно, что можно было бы записать один день и просто прокручивать запись каждое утро — никто бы не заметил разницы. Внутри этого повторения не было плохого события, не было катастрофы. Была просто пустота, аккуратно завёрнутая в расписание. Я делал вид, что тружусь ради семьи, ради будущего, ради какой-то цели, но если честно спросить себя — какой цели? — ответа не находилось. Была только привычка идти вперёд, потому что остановиться казалось страшнее. Вторая стена — это были отношения с женой. Не с ней самой, а с тем, во что превратился наш разговор друг с другом за последние годы. Раньше мы могли часами обсуждать всё подряд — фильмы, книги, планы на будущее, глупости, которые случались за день. Теперь разговор свёлся к списку задач: кто забирает бельё из химчистки, кто звонит в поликлинику, хватит ли денег до зарплаты. Мы жили рядом, но не вместе. Спали в одной постели, но каждый в своём отдельном молчании. Третья стена оказалась самой неприятной для признания — я сам. Мои страхи, которые я никогда никому не показывал. Страх, что я ничего не добился в жизни. Страх, что годы уходят, а я так и остался тем же неуверенным человеком, каким был в двадцать лет, только теперь с ипотекой и лишним весом. Страх, что если остановиться и честно посмотреть на свою жизнь, окажется, что смотреть особо не на что. Эти три стены — работа, отношения, я сам — и состав-

ляли квадрат, в котором я жил. Не метафора, не философская абстракция. Настоящая структура, такая же реальная, как стены квартиры, в которой я вырос. Валерий предложил встретиться ещё раз, через неделю, в кафе недалеко от его дома. Я согласился, хотя чувствовал странное волнение — будто шёл не на обычную встречу, а на приём к врачу, который может сообщить неприятный диагноз. Когда я пришёл, он уже сидел за столиком у окна, перед ним лежала книга — потрёпанная, с загнутыми страницами. Я сел напротив, заказал кофе и первым делом спросил про книгу. — Читаю заново, — сказал он. — Про Малевича. Точнее, не столько про него, сколько про то, что происходило вокруг него в те годы. Знаешь, интересная деталь: когда он впервые показал картину публике, на выставке в тысяча девятьсот пятнадцатом году, он повесил её в красном углу зала. В том самом месте, где в русских избах веками вешали иконы. Я не сразу понял, к чему он клонит. — Это была не просто картина, — продолжил Валерий. — Это было заявление. Он как будто говорил: старые боги умерли, вот вам новая икона. Смотрите в неё и молитесь, если сможете. Только эта икона ничего не обещает — ни рая, ни спасения. Она просто есть. Пустая, честная, беспощадная форма. Он отхлебнул кофе и посмотрел на меня внимательно. — Ты сейчас как раз стоишь перед такой иконой. Только твоя — не на холсте. Она сложена из твоей работы, твоего брака, твоего страха. И вопрос, который стоит перед тобой, тот же самый, что стоял перед зрите-

лями на той выставке больше века назад: ты будешь молиться пустоте или найдёшь способ выйти из рамы? Я долго молчал, глядя в чашку с остывающим кофе. — А выйти можно? — спросил я наконец. Валерий пожал плечами. — Не знаю. Я философ-недоучка, а не проповедник. Но подозреваю, что первый шаг — перестать делать вид, что рамы не существует. Ты этот шаг, кажется, уже сделал. Домой я возвращался пешком, хотя обычно ездил на автобусе. Хотелось пройтись, подумать. Вечер был холодный, редкие прохожие спешили мимо, кутаясь в куртки. Я смотрел на светящиеся окна домов — десятки, сотни одинаковых прямоугольников, за каждым из которых горел свой свет, своя жизнь, свой, возможно, точно такой же квадрат, о котором его обитатель ещё не подозревал. И впервые за долгое время я почувствовал не страх перед этими рамками, а что-то похожее на решимость. Если весь мир действительно состоит из таких квадратов, значит, кто-то до меня уже пытался из них выбраться. Значит, есть путь. Оставалось только его найти. Поиски пути наружу начались с ошибки. Я думал, что если разрушить одну стену — самую очевидную, самую больную — остальные рухнут сами собой, как карточный домик. Выбрал работу. Решил: уволюсь, начну заново, и жизнь перестанет быть квадратной. Заявление я написал через две недели после разговора с Валерием. Начальник даже не удивился — сказал что-то вроде «ну бывает, устают люди», подписал бумагу за пять минут, будто ждал этого давно. Может, и правда ждал. Может, во

мне давно было заметно то, что сам я разглядел только благодаря чёрному квадрату на холсте. Дома, когда я сообщил жене, она долго молчала. Потом спросила — а жить на что будем. Вопрос справедливый, но меня он разозлил, потому что прозвучал ровно так же, как и все остальные вопросы последних лет — практичный, холодный, без единой попытки заглянуть глубже. Я ответил резко, она обиделась, и вечер закончился тем самым знакомым молчанием, только теперь оно казалось ещё гуще, ещё чернее обычного. Первый месяц без работы я провёл странно. Просыпался поздно, слонялся по квартире, читал случайные книги, пытался понять, чего вообще хочу от жизни. Иллюзия свободы держалась недолго — недели через три пришло осознание, что квадрат никуда не делся. Просто сменил форму. Раньше рамкой было расписание работы, теперь рамкой стала пустота дня, в которой не за что зацепиться. Я по-прежнему просыпался с тем же тяжёлым чувством в груди, только теперь некому было его прикрыть отчётом или совещанием. Именно тогда я понял свою первую большую ошибку: я думал, что квадрат — это внешние обстоятельства. Работа, город, распорядок дня. Я представлял, что стоит поменять декорации, и рама исчезнет сама. Но рама была не снаружи. Она была во мне — в привычке бояться, в привычке врать себе, в привычке цепляться за любую структуру, лишь бы не смотреть в пустоту напрямую. Я снова встретился с Валерием, на этот раз сам напросился, позвонил и сказал, что нужно поговорить. Мы сели в

том же кафе, за тем же столиком у окна. Рассказал ему про увольнение, про пустые дни, про то, что рамка не исчезла, а просто сменила очертания. Валерий слушал внимательно, кивал, а потом сказал вещь, которая меня разозлила своей простотой: — Ты решил, что квадрат — это клетка, из которой нужно выбраться физически. Сменить место, сменить работу, сменить обстановку. Но ты не отшельник, который прячется в пещере от диких зверей. Ты не в тюрьме из бетона. Ты в тюрьме из смысла — вернее, из его отсутствия. А из такой тюрьмы нельзя выйти, просто открыв дверь и уйдя. Дверь можно открыть только изнутри себя. — И как это сделать? — спросил я, уже без прежнего раздражения, скорее устало. — Знаешь, что интересно, — сказал он. — Казимир Малевич не остановился на одном квадрате. Он писал их много раз, разными способами. Чёрный квадрат, потом чёрный круг, чёрный крест. А через несколько лет — белый квадрат на белом фоне. Понимаешь разницу? Сначала абсолютная пустота, чернота, отрицание всего. А потом — белое на белом, где форма почти растворяется, но не исчезает совсем. Как будто он сам искал выход из собственной клетки, которую создал. Я не знал этой картины — про белый квадрат на белом фоне. Дома в тот же вечер нашёл репродукцию в интернете, долго рассматривал на экране телефона. Действительно, почти невозможно различить, где заканчивается фон и начинается фигура. Только тонкая тень, лёгкий перепад оттенка — и то нужно вглядываться. Что-то

в этом образе задело меня сильнее, чем сам чёрный квадрат когда-то. Потому что чёрный квадрат — это отчаяние, ясное и честное. А белый на белом — это что-то другое. Может быть, надежда, которая не кричит о себе, а еле заметна, почти невидима, но всё же есть, если приглядеться. Следующие несколько месяцев я не искал новую работу и не пытался героически перестроить брак одним разговором. Вместо этого начал делать вещи гораздо более скучные и гораздо более трудные одновременно. Я начал разговаривать с женой не про быт. Специально, потому что после стольких лет молчания даже простой разговор о чувствах давался тяжело, будто пришлось заново учиться языку, на котором когда-то говорил свободно. Первые попытки были неловкими. Один раз я спросил её прямо, за ужином — счастлива ли она. Она отложила вилку, посмотрела на меня, как на незнакомца, и спросила, что со мной случилось. Я не стал рассказывать про квадраты — понимал, что это прозвучит как начало нервного срыва. Просто сказал — устал жить, не разговаривая по-настоящему. Она заплакала, неожиданно для меня самого. Оказалось, что она чувствовала то же самое годами, но тоже не знала, как начать этот разговор, боялась, что он окончится ссорой или чем-то похуже. Мы проговорили тем вечером почти до утра. Не всё решили, не все проблемы растворились волшебным образом — так не бывает, и я бы не поверил книге, которая обещала бы такую лёгкую развязку. Но что-то сдвинулось. Рама стала чуть тоньше в этом углу. Па-

раллельно я начал заниматься собственным страхом напрямую, а не убегать от него в новую занятость. Записался на консультации к психологу — шаг, который раньше казался мне почти постыдным, будто признанием слабости. Оказалось наоборот: впервые за долгое время я говорил вслух о вещах, которые раньше прятал даже от себя. Про отца, который всю жизнь считал слабостью любые разговоры о чувствах. Про страх повторить его судьбу — прожить пятьдесят лет, ни разу честно не взглянув на себя. Работу я тоже в итоге нашёл — не сразу, не идеальную, но такую, где хотя бы не приходилось врать себе каждое утро, зачем встаю с кровати. Это была не революция. Скорее медленная, кропотливая перекладка кирпичей внутри той самой рамы, о которой говорил Валерий. Однажды вечером, спустя примерно полгода после первого разговора в поликлинике, я снова поехал в тот же музей. Один, как и в первый раз. Встал перед той же картиной. Чёрный квадрат смотрел на меня так же, как и год назад — без сочувствия, без осуждения, просто пустой и честный. Но что-то изменилось во мне самом. Я больше не видел в нём врага, ловушку, из которой нужно вырваться любой ценой. Я видел зеркало — точное, беспощадное, но не злое. Оно просто показывало то, что есть, без прикрас. И тогда я подумал: может быть, дело вообще не в том, чтобы выбраться из квадрата. Может быть, дело в том, чтобы перестать врать себе внутри него. Перестать делать вид, что стены не существуют, но и не считать их приговором. Про-

сто жить честно в тех границах, которые есть — и постепенно, кирпичик за кирпичиком, раздвигать их изнутри. Я вышел из музея в тот вечер уже не с тем же тревожным гулом внутри, что раньше. Скорее с тихим, спокойным пониманием: путь не заканчивается. Квадрат никуда не исчезнет — ни мой, ни чужой, ни тот, что висит в раме на стене музея. Но то, как я в нём живу, — это уже выбирать мне. Дома, в тот же вечер, я достал старую тетрадь в клетку и написал на первой чистой странице: «Не Малевич». Не потому что хотел спорить с художником или отрицать его правоту. А потому что понял — моя история не про раму, которую он нарисовал сто с лишним лет назад. Моя история про то, что происходит с человеком, который эту раму наконец разглядел в себе — и решил, несмотря ни на что, жить дальше.

Часть 2.
Чужие рамы

«Каждый носит свою тюрьму так, будто это его комната.»

Прошёл почти год с того вечера, когда я написал на первой странице тетради два слова, ставших потом заглавием этой книги. Жизнь за это время не превратилась в сказку — она осталась обычной, со своими счетами, простудами, усталостью по пятницам. Но появилось нечто новое: способность замечать чужие квадраты. Не свои — чужие. Первым, кого я разглядел по-настоящему, был сосед сверху. Звали его Вик-

тор Павлович, лет шестидесяти пяти, вдовец, бывший инженер-конструктор — из тех людей, что всю жизнь строили что-то надёжное и точное, а под старость остались один на один с квартирой, слишком просторной для одного человека. Мы сталкивались на лестнице годами, здоровались, обменивались парой фраз про погоду и лифт, который вечно ломался. Я никогда не задумывался о нём всерьёз. Однажды в субботу я встретил его во дворе — он сидел на скамейке, смотрел прямо перед собой, в одну точку, куда-то в сторону детской площадки, где в этот час никого не было. Просто сидел, неподвижно, минут, наверное, двадцать. Я присел рядом, не зная, зачем. Может, потому что впервые за долгое время сумел заметить в чужом лице то же самое выражение, что видел раньше в зеркале. — Хороший день, — сказал я, лишь бы начать разговор. — Пустой, — ответил он, не поворачивая головы. — Все дни теперь пустые, молодой человек. Один за другим, как кирпичи в стене. Я промолчал, но что-то внутри отозвалось узнаванием. Кирпичи в стене. Он произнёс это без всякого знания о моей истории, без всякого умысла — просто описал собственное ощущение, — и всё же попал точно в ту же точку, вокруг которой я кружил целый год. Мы просидели тогда почти час. Он рассказывал про жену, которая умерла три года назад, про сына, живущего в другом городе и звонящего раз в месяц по расписанию, будто выполняя формальную обязанность. Про то, как раньше дни были заполнены чертежами, расчётами, ответственностью за

реальные объекты — мосты, здания, — а теперь заполнены только телевизором и редкими походами в поликлинику. Я не рассказал ему про свои квадраты. Не тогда. Просто слушал. Но, возвращаясь домой, поймал себя на мысли: его рама была видна отчётливее, чем моя когда-то. Он не прятал её за суетой, за расписанием работы, за иллюзией занятости. Его квадрат был голым, обнажённым — просто пустота дней, ничем не прикрытая. С этого разговора началась привычка, которая постепенно превратилась почти в потребность: замечать людей, застрявших в собственных рамах, и — осторожно, без навязчивости — пытаться помочь им это заметить тоже. Не буду утверждать, что стал каким-то целителем душ или гуру с готовыми рецептами. Ничего подобного. Чаще всего я просто задавал вопросы — те самые, которые год назад мне самому было страшно услышать. Счастлив ли ты. Когда в последний раз говорил правду вслух, а не то, что от тебя ждут. Что бы ты сделал, если бы не боялся. Коллега с новой работы, молодая женщина по имени Марина, однажды за обедом призналась, что ненавидит свою профессию, но продолжает работать юристом уже восемь лет, потому что родители гордятся этим статусом, а признаться им в обратном кажется предательством. Пока она говорила, я заметил, как её взгляд на секунду метнулся к тёмному экрану выключенного компьютера на соседнем столе — короткий, почти неуловимый взгляд, но я уже научился его распознавать. Друг детства, с которым мы случайно созвонились после многолет-

него перерыва, рассказывал про удачный бизнес, про новую машину, про поездки за границу — и в какой-то момент, без всякой связи с темой разговора, вдруг замолчал и сказал: «Знаешь, иногда я лежу ночью и не понимаю, зачем всё это». Потом рассмеялся, будто пошутил, и сменил тему. Каждая такая встреча добавляла что-то в общую картину, которую я постепенно складывал в голове. Квадраты были повсюду, но выглядели по-разному. У соседа — пустота одиночества. У коллеги — предательство собственных желаний ради чужих ожиданий. У друга — успех, ставший клеткой не хуже неудачи. И всё же в основе каждого квадрата лежало одно и то же: расхождение между тем, как человек живёт, и тем, кем он мог бы стать, если бы перестал бояться честного взгляда на себя. Валерий, когда я рассказал ему об этих наблюдениях, отреагировал спокойно, без удивления — так, будто давно ждал, что я приду именно к этому. — Знаешь, в чём разница между тобой год назад и тобой сейчас? — спросил он, размешивая сахар в кофе. — Год назад ты видел только собственную раму. Она казалась тебе уникальной трагедией, личным проклятием. А сейчас ты понимаешь: рама не твоя личная. Она общая. Просто каждый носит её по-своему, и почти никто не решается сказать об этом вслух. — И что мне с этим делать? — спросил я. — Ничего грандиозного, — сказал он. — Не строй иллюзий, что сможешь спасти всех соседей и коллег. Это не твоя задача, и это невозможно. Но ты можешь быть человеком, рядом с которым другим

становится чуть легче заметить собственную раму. Иногда этого достаточно. Один честный вопрос в нужный момент может сделать больше, чем годы терапии, — если человек уже готов услышать. Я задумался об этом надолго. О том, что моя история с квадратами перестала быть только моей. Она превратилась в нечто вроде языка, на котором я теперь мог говорить с другими людьми о том, что раньше казалось невыразимым, — о пустоте, страхе, лжи самому себе, о медленном умирании внутри собственного расписания. Осенью того же года умер Виктор Павлович, сосед сверху. Тихо, во сне, как говорят в таких случаях, хотя откуда соседям знать наверняка, было ли это действительно тихо. Сын приехал на похороны, пробыл в городе три дня, распродал часть мебели и уехал обратно, забрав только несколько личных вещей отца. Я стоял на похоронах и думал не о смерти как таковой, а о той скамейке во дворе, где мы просидели почти час осенним субботним днём. О кирпичах в стене, один за другим. О том, что Виктор Павлович так и не успел — или не захотел, или не смог — выбраться из своей рамы. Прожил в ней последние годы жизни, окружённый пустотой, которую сам же и не решился разрушить. Его смерть стала для меня не трагедией в привычном смысле, а скорее предупреждением. Напоминанием, что квадрат не ждёт вечно. Что у честности с собой есть срок годности, после которого её уже некому предъявить. В тот вечер я снова достал тетрадь и написал: «Рама не убивает сама по себе. Она просто держит челове-

ка на месте, пока не заканчивается время». Перечитал фразу несколько раз, потом закрыл тетрадь и пошёл на кухню, где жена готовила ужин. Обнял её со спины, ничего не объясняя. Она не спросила, что случилось. Просто на секунду прижалась ко мне в ответ, и этого было достаточно. Марину я узнал ближе спустя пару месяцев после того обеда, когда она впервые проговорилась про восемь лет ненавистной профессии. Мы стали иногда пить кофе после работы — ничего романтического, просто два человека, которым нашлось о чём говорить помимо отчётов и совещаний. Она рассказывала про детство обстоятельно, будто давно ждала слушателя. Отец — военный на пенсии, привыкший командовать даже дома. Мать — учительница, для которой оценки соседских детей значили больше, чем настроение собственной дочери. С пятого класса Марине повторяли одно и то же: юрист — надёжная профессия, юрист — это стабильность, юрист — это уважение. Она поступила на юридический не потому что хотела, а потому что альтернативы никто всерьёз не рассматривал. — Знаешь, что самое страшное? — сказала она однажды, глядя в чашку. — Не то, что я восемь лет делаю нелюбимую работу. А то, что я уже не помню, чего хотела на самом деле. В детстве точно что-то было. Кажется, рисование. Или музыка. Не помню точно, представляешь? Собственное детское желание стёрлось, а родительское осталось прописанным намертво. Я рассказал ей — впервые кому-то, кроме Валерия и жены, — про свои квадраты. Ожидал, что она от-

реагирует настороженно, сочтёт странным. Вместо этого она долго молчала, а потом сказала: — У меня тоже есть такая рамка. Только я всегда думала, что это просто усталость от дедлайнов. Мы начали встречаться регулярно, не как влюблённые, а как два исследователя одной территории. Я задавал вопросы, которые задавал себе год назад. Она отвечала неохотно, с сопротивлением, иногда со злостью — злостью не на меня, а на саму необходимость признавать очевидное. Однажды она принесла на встречу старый альбом — не цифровой, бумажный, с пожелтевшими страницами. Внутри были детские рисунки, подписанные корявым почерком: «Марина, 7 лет». Кони, дома с дымящими трубами, солнце с лучами-палочками — обычные детские картинки, но в них было что-то живое, чего я не замечал в её взрослых, идеально выверенных юридических формулировках. — Мама сохранила, — сказала она, листая страницы. — Странно, что не выбросила вместе со всем остальным, что не вписывалось в её представление о правильной дочери. Я спросил, пробовала ли она рисовать сейчас, взрослой. Она покачала головой — сказала, что времени нет, что это глупости для школьников, что серьёзные люди не тратят вечера на карандаши и бумагу. Прошло ещё несколько недель, прежде чем она купила первый за много лет альбом для рисования. Не сказала мне заранее — просто однажды выложила на стол фотографию первого наброска, сделанного тайком от коллег в обеденный перерыв. Неуверенный, робкий рисунок — вид из окна офи-

са, серые здания, провода. Но живой. Настоящий, не по инструкции. Юриспруденцию она не бросила — не смогла, да и не была готова к такому радикальному шагу, и я не считал себя вправе на этом настаивать. Но что-то изменилось в её лице, когда она говорила теперь о работе. Появилась дистанция, лёгкая ирония вместо прежнего глухого раздражения. Будто рамка осталась на месте, но перестала быть единственной комнатой, в которой она жила. Друга детства звали Стас. С ним история сложилась иначе — сложнее, дольше, без ясного результата, к которому можно было бы подвести красивую черту. Мы встретились снова спустя пару месяцев после того первого созвона, уже лично, в баре недалеко от его новой квартиры — просторной, с видом на набережную, обставленной с той продуманной роскошью, которая обычно свидетельствует о деньгах, а не о вкусе. Стас показывал мне квартиру с гордостью, рассказывал про машину, про недавнюю поездку на Мальдивы, про новый проект, который должен принести ещё больше денег в следующем году. Я слушал, кивал, но помнил ту фразу, которую он обронил в прошлый раз — про ночи, когда лежишь и не понимаешь, зачем всё это. Спросил прямо, без обиняков — а что там было с той мыслью, про которую он тогда упомянул. Он рассмеялся, но смех вышел неубедительным. — Да так, минутная слабость. У всех бывает. Я не стал давить. Понимал по собственному опыту — навязанная честность хуже её отсутствия. Каждый идёт к своей раме в свой срок, если вообще идёт. Мы

виделись ещё несколько раз за следующие месяцы. Каждый раз он рассказывал про новые достижения — контракт крупнее прежнего, машина дороже прежней, отпуск экзотичнее прежнего. Но однажды, уже изрядно выпив, он вдруг сказал, ни с того ни с сего: — Знаешь, иногда я завидую тебе. Ты вроде ничего особенного не боишься за этот год — как жил, так и живёшь, обычная зарплата, обычная квартира. Но у тебя в глазах что-то есть, чего у меня нет. Не знаю, как объяснить. Я попытался объяснить — про квадрат, про раму, про честность с собой. Он слушал, но было видно: слова падают куда-то в сторону, не задевая. Не потому что он был глуп или бесчувственен — просто ещё не пришло его время это услышать. Рамка держала его крепко, обвитая деньгами и статусом настолько плотно, что трещины в ней ещё не стали видны даже ему самому. Расстались мы тепло, договорились созваниваться чаще, но звонки снова стали редкими. Иногда я думал о нём — не с осуждением, скорее с грустью о человеке, который узнал дорогу, но не может пройти её за другого. Как бы ни была моя тетрадь с записями, ни мои уговоры не заменят момента, когда человек сам решается посмотреть в свой собственный ориентир без прикрас. Той же зимой я вернулся мыслями к разговору с Валерием про белый квадрат на белом фоне — ту позднюю работу Малевича, которую я нашёл в интернете после первой встречи с ним в кафе. Мне всё яснее становилось, что моя история — это не история про побег из тюрьмы. Побег предполага-

ет врага, стены, которые нужно проломить силой. Моя история, а теперь я видел — и история Марины, Виктора Павловича, даже Стаса, каждого по-своему, — была не про побег, а про постепенное растворение границы между рамкой и содержанием. Чёрный квадрат — это когда форма отделена от жизни резкой, беспощадной линией. Белое на белом — это когда линия остаётся, потому что полностью она никогда не исчезает, но становится настолько тонкой, что уже не мешает жить. Не тюрьма и не побег. Просто новое соотношение между тем, что видно снаружи, и тем, что происходит внутри. Я записал это в тетради длинной фразой, которую потом много раз перечитывал: «Может быть, задача не в том, чтобы уничтожить раму окончательно — такое, кажется, никому не под силу, ни художнику, ни простому человеку. Задача в том, чтобы сделать её настолько тонкой, чтобы сквозь неё можно было дышать». Тетрадь к тому моменту закончилась, и я купил новую — уже не в клетку, а в мягкой чёрной обложке, без единой линии внутри. Чистые белые страницы, ничем не расчерченные. Помню, как долго стоял в магазине канцтоваров, вертя её в руках, прежде чем понял, почему выбрал именно эту — впервые за долгое время мне хотелось писать без готовых линий, самому решая, где будут границы. В феврале позвонила мать — редкий звонок, обычно она предпочитала переписку в мессенджерах, короткие сообщения про здоровье и погоду. На этот раз голос у неё был другой, напряжённый. — Отец в больнице, — сказала она. —

Ничего страшного, обследование, но врачи хотят подержать несколько дней. Я приехал в город, где вырос, впервые за долгое время. Отец лежал в палате на двоих, читал старую газету, хотя телевизор в углу работал без звука. Увидев меня, он не удивился, не обрадовался особо — просто кивнул и сказал: «Ну что, приехал». Мы никогда не были близки в том смысле, в каком бывают близки некоторые отцы и сыновья. Он вырос в семье, где мужчина не должен показывать слабость, где разговоры о чувствах считались уделом женщин и слабаков. Всю жизнь он проработал на заводе, рядовым работником цеха, потом на пенсии занимался огородом и чинил соседям бытовую технику — руки у него всегда были заняты чем-то конкретным, осязаемым. Сидя у его кровати, я вдруг увидел то, что не замечал прежде, — не физически, не в буквальном смысле, но так же ясно, как чёрный квадрат в музее. Его собственную раму. Сложенную не из офисных будней, а из десятилетий молчания, из привычки решать всё через действие, никогда через слово. Из страха, унаследованного от своего отца, моего деда, — что разговор о душе равносилен признанию в слабости. — Как дела на новой работе? — спросил он, не отрываясь от газеты. — Нормально, — ответил я, а потом, неожиданно для самого себя, добавил: — Пап, а ты счастлив? Он опустил газету, посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом — таким, каким смотрят на незнакомый прибор, пытаясь понять принцип его работы. — Странный вопрос, — сказал он наконец. — Я работал со-

рок лет, вырастил тебя, дом построил, машину купил. Что значит счастлив? — Просто спрашиваю. Он снова уткнулся в газету, но через минуту, не поднимая глаз, произнёс тихо, почти неслышно: — Иногда лежу ночью и думаю — а что дальше. Дом стоит. Машина ездит. Ты вырос. А дальше что. Это было максимум откровенности, на который он оказался способен в тот момент, и я не стал давить дальше, зная по опыту со Стасом, что навязанная честность разрушает больше, чем строит. Просто сидел рядом ещё час, разговаривая о простых вещах — об урожае прошлого лета, о соседском заборе, который давно нужно чинить. Уезжая из больницы, я думал о том, сколько поколений мужчин в моей семье жили внутри одной и той же рамы, передавая её по наследству, как фамильную реликвию, о ценности которой никто не задумывался вслух. Дед строил дом, отец построил свой, я — так и не решил пока, что буду строить, но точно знал одно: свою раму я хотя бы вижу. Это уже отличие, пусть и небольшое. Вернувшись домой, я долго не мог уснуть, лежал рядом с женой в темноте, слушал её дыхание. Думал о той тетради в чёрной обложке, где не было ещё ни строчки. Думал о том, что моя история с квадратом — это не только моя личная драма и не только истории случайных людей вокруг меня. Это, возможно, история про целую цепочку — от деда к отцу, от отца ко мне, — цепочку молчания, которую кто-то должен разорвать, иначе она продолжится дальше, передастся моему ребенку. Через неделю, снова навещая отца, я

решился на разговор иначе — не в лоб, а исподволь, рассказав ему про свою собственную историю, про квадраты, про Валерия, про музей. Ожидал насмешки или, в лучшем случае, вежливого недоумения. Вместо этого отец долго молчал, глядя в окно палаты, а потом сказал вещь, которая меня удивила больше всего за последний год: — Знаешь, я тоже видел что-то похожее. Давно, ещё молодым, на заводе. Стоял у станка, смотрел на чёрный металл детали, которую только что выточил, и вдруг подумал — а зачем всё это. Испугался этой мысли так, что неделю не спал. Потом поговорил с матерью твоей, она сказала — не думай глупостей, работай. Я и не думал больше. Работал. Он произнёс это ровным голосом, без всякого пафоса, будто рассказывал о рядовом производственном случае. Но я понимал — для него это признание стоило огромных внутренних усилий, возможно, самых больших за всю его сдержанную жизнь. Мы не обнялись, не заплакали — в нашей семье так не принято, и я не собирался притворяться, что один разговор способен переписать десятилетия молчания. Но что-то между нами всё же изменилось в тот день, тонкая трещина появилась в той раме, которую он строил вокруг себя всю жизнь. Не разрушила её — на это, наверное, ушли бы годы, если вообще было возможно, — но впустила немного воздуха. Ответ пришёл не в одну ночь и не через озарение. Он собирался постепенно, из разрозненных деталей, как складывается мозаика, если долго перебирать кусочки, не понимая пока общей картины. Началось

с того, что Марина попросила показать её рисунки кому-то ещё, кроме меня. Не для оценки — для самого факта, что кто-то посторонний их увидит и не спросит, зачем взрослая женщина тратит вечера на карандаши и бумагу. Я предложил ей показать коллеге из отдела дизайна, с которым случайно пересекался на обеденных перерывах. Тот, разглядывая наброски, сказал простую вещь: «А знаешь, если бы ты делала это годами подряд, у тебя бы уже была своя манера. Жаль упущенных лет». Марина потом призналась, что эта фраза ранила сильнее, чем ожидала, — не потому что была злой, а потому что была правдой без прикрас. Упущенные годы никуда не денутся, их не вернуть, и любое движение вперёд начинается не с иллюзии, что время можно перемотать, а с честного взгляда на то, сколько его осталось. Именно тогда у меня впервые появилась мысль, ещё смутная, неоформленная: может, стоит не только замечать чужие рамы в частных разговорах за кофе, но и написать об этом. Не диссертацию, не философский трактат — я не претендовал на такую роль, — а просто честный рассказ, доступный тому же Виктору Павловичу, той же Марине, тому же отцу, если бы он вдруг решился прочитать что-то подобное. Валерию идея сначала не понравилась. — Ты уверен, что тебе есть что сказать такого, чего не сказали раньше сотни других людей? — спросил он с обычной для него прямотой. — Книг про поиск себя написано горами. Большинство из них — вода, красивые слова без содержания. — Может быть, — ответил я. — Но у меня

нет чужого рецепта. У меня есть только то, что случилось конкретно со мной, конкретно в тот год. Может, это никому не поможет. А может, кто-то один узнает в этом себя, как я узнал себя в чёрном квадрате того музея. Валерий помолчал, потом кивнул — без энтузиазма, но и без прежнего скепсиса. — Тогда пиши честно. Не ради красивой фразы, не ради того, чтобы выглядеть мудрее, чем есть. Пиши так, как рассказывал мне в этом кафе — с запинками, с сомнениями, без готовых ответов. Иначе получится ещё одна книга-таблетка, а таких и так достаточно на полках. Первые страницы дались мучительно. Оказалось, писать о собственной раме гораздо труднее, чем жить в ней, замечая её краем глаза. На бумаге всё выглядело либо слишком пафосно, либо слишком плоско, будто перевод внутреннего опыта на внешний язык терял что-то главное при каждой попытке. Я переписывал одни и те же абзацы по несколько раз, злился, откладывал тетрадь на недели, снова возвращался. Жена, видя моё раздражение, однажды спросила прямо — зачем мне это, если получается так тяжело. Я не сразу нашёл ответ. Потом сказал — потому что если не попробую, буду всю жизнь думать, что струсил. Не перед ней, не перед Валерием — перед собой самим, перед тем человеком, который целый год учился не врать себе, а теперь испугался написать правду для кого-то ещё. Она кивнула и с того вечера перестала спрашивать про сроки, про то, когда будет готово. Просто иногда, проходя мимо стола, где лежала тетрадь, клала руку мне на плечо — без слов, но

этого хватало, чтобы продолжать. Летом я показал первые главы Валерию. Он читал долго, молча, хмурясь в местах, которые казались ему слабыми, и один раз усмехнулся — там, где я описывал наш первый разговор в поликлинике почти дословно, каким его запомнил. — Неточно, — сказал он, отложив листы. — Я не был таким мудрым, как ты меня описал. Просто повезло сказать пару вещей вовремя. — Может быть, — ответил я. — Но так я это запомнил. А память — не протокол, это уже другая правда, не менее настоящая. Он не стал спорить. Вместо этого сказал вещь, которая осталась со мной надолго: — Знаешь, чем твой текст отличается от большинства книг про поиск себя? Ты не утверждаешь, что нашёл выход. Ты просто показываешь, как выглядит путь, когда идёшь по нему, не зная заранее, куда придёшь. Это честнее, чем любые готовые формулы. Той же осенью я показал написанное отцу — впервые дал ему прочитать что-то настолько личное. Он читал медленно, за несколько вечеров, не комментируя вслух. Когда закончил, вернул тетрадь молча, а через пару дней, уже по телефону, сказал коротко: — Прочитал. Не думал, что ты так на всё это смотришь. Может, мне бы тоже стоило записать что-то, пока не поздно. Он не стал уточнять, что именно имеет в виду, а я не стал спрашивать. Достаточно было того, что мысль вообще у него появилась — впервые за всю его сдержанную, немногословную жизнь. К концу того года у меня накопилось достаточно страниц, чтобы понять: это уже не просто дневник для себя.

Это становится чем-то, что можно — и, наверное, нужно — довести до конца и показать не только близким людям, но и незнакомцам, которые, возможно, стоят прямо сейчас перед своим собственным чёрным квадратом Малевича, ещё не решаясь признать это даже самим себе. Наступил декабрь — снова декабрь, ровно два года с того вечера в метро, когда я впервые поднял голову и увидел раму там, где раньше видел просто дверь. Странно было осознавать, что прошло всего два года. Иногда казалось, что это была другая жизнь, другой человек, живший задолго до меня и лишь по случайности носивший моё имя. Я решил снова съездить в музей — уже не в поисках ответа, не с тревогой, а скорее из уважения, как навещают старого знакомого, с которым давно не виделись, но который сыграл важную роль в твоей жизни. Зал был почти пуст — будний день, послеобеденное время, когда туристы предпочитают другие маршруты. Картина висела на прежнем месте, за стеклом, под мягким светом музейных ламп. Я встал перед ней, как в первый раз, но чувствовал себя совершенно иначе. Тогда, два года назад, квадрат казался мне противником — молчаливым, беспощадным, будто вызывающим на бой, который невозможно выиграть. Теперь я смотрел на него скорее как на учителя, чей урок оказался труднее и дольше, чем можно было представить в начале, но в итоге дал больше, чем любые слова утешения. Рядом со мной остановилась пожилая пара — судя по разговору, приезжие откуда-то из провинции, впервые в этом музее. Жен-

щина смотрела на картину с явным недоумением. — И что здесь такого особенного, — сказала она мужу вполголоса. — Просто чёрный квадрат. Муж пожал плечами, ничего не ответил. Они постояли ещё немного и пошли дальше, к следующему залу, к следующей картине, обещавшей более понятное содержание. Я не стал их останавливать, не стал ничего объяснять — понимал, что объяснение здесь бессильно, что каждый приходит к пониманию своим путём и в своё время, если вообще приходит. Может, эта женщина никогда не увидит в чёрном квадрате ничего, кроме чёрной краски на холсте. А может, однажды, при других обстоятельствах, вспомнит этот момент и посмотрит иначе. Не мне решать за неё. В тот вечер я собрал всех, кто так или иначе стал частью этой истории за последние два года. Не буквально всех — Виктора Павловича уже не было в живых, а Стас снова уехал в очередную дорогую командировку, — но собрались Валерий, Марина, жена, даже отец согласился приехать, что для него было почти неслыханным жестом. Сидели на кухне нашей небольшой квартиры, тесно, локоть к локтю, ели простую еду, пили дешёвое вино. Разговор шёл обо всём подряд — о работе, о погоде, о планах на следующий год, — но в какой-то момент Марина спросила меня прямо, за столом, при всех: — Ты дописал книгу? Я признался, что нет ещё, что до конца ещё далеко, что история продолжает разворачиваться, а значит, и текст ещё не готов остановиться. Отец, до этого молчавший весь вечер, вдруг сказал: — А может, и не надо её

заканчивать сразу. Может, некоторые истории и не должны иметь точки. Многоточие честнее. Валерий усмехнулся — впервые за вечер с той самой ироничной улыбкой, с которой начинал почти каждый наш разговор в кафе два года назад. — Философ из тебя вырос неожиданный, — сказал он отцу. — Впору тебе тоже книгу писать. Отец не ответил, но по его лицу я видел, что мысль эта запала глубже, чем можно было подумать по его обычной сдержанности. Уже ночью, когда все разошлись, а жена уснула, я сидел на кухне один, глядя в тёмное окно. Оно снова превратилось в рамку — привычную, узнаваемую, но уже не пугающую, как раньше. Я знал теперь, что там, за этой чернотой, не пустота и не ловушка, а просто ночь, обычная декабрьская ночь над обычным городом, где сотни таких же рамок светятся или темнеют в зависимости от того, спит их обитатель или нет. Открыл чёрную тетрадь на последней исписанной странице, взял ручку. Хотел написать что-то итоговое, какую-то формулу, подводящую черту под этими двумя годами. Но рука вывела совсем другое — не вывод, а вопрос, который я адресовал уже не себе, а кому-то ещё, кто, может быть, однажды откроет эти страницы и узнает в них собственную историю: «А ты уже заметил свою раму? Или пока думаешь, что это просто окно?» Закрыл тетрадь, выключил свет на кухне и пошёл спать, зная, что впереди ещё долгий путь — не к финалу, а к следующей части этой истории, которая, как справедливо заметил отец в тот вечер, возможно, никогда не будет иметь окон-

чательной точки. Только запятые. Только многоточия. Только следующий день, который нужно прожить честно, как бы трудно это ни было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.